
Driadliana
Пробник

Driadliana

Пробник

«Автор»
2026

Driadliana

Пробник / Driadliana — «Автор», 2026

В холодильнике у Ветровых живёт одна горчица. Отец спит в коридоре, мама тянет три работы и подписывает записки одной буквой: «М.». Максу четырнадцать, у него тройка по алгебре и план: уехать отсюда навсегда.Но в почтовом ящике появляется письмо, пахнущее хвоей и дымом. В школе лопаются лампы, вещи шепчут свои настоящие имена, а мама сжигает письмо зелёным огнём. Макс из рода северных колдунов, и за его силой уже идут.Ночной поезд, Мёртвый Бор, деревня Выселки. Дядя, который вместо заклинаний даёт топор. Девочка с больным сердцем, которой нужны не жалость, а разговоры про куриц. Ласковая «бабушка» с пирогами, чьё гостеприимство слишком похоже на ловушку.Ироничный, тёплый и пронзительный роман о семье, стыде, любви, которая варит суп в три часа ночи, и о выборе, который нельзя пересдать.

© Driadliana, 2026
© Автор, 2026

Driadliana
Пробник

Часть I

Дом

Глава 1. Тройка по алгебре

Холодильник у Ветровых был честный. Он не изображал достаток и не включал свет ради колбасы, которой не было. Когда Макс открыл дверцу, оттуда просто потянуло холодом, как из погреба, и на единственной полке обнаружились: кетчуп, в котором помидоры остались, как одно красное воспоминание на стенках, полпачки маргарина, банка горчицы с этикеткой, выцветшей до полной нечитаемости.

Бабка говорила в таких случаях: «Мышь повесилась». У Ветровых мышь повесилась, судя по всему, давно. Даже верёвки не осталось.

— Мама на трёх работах, папа на трёх литрах, — сказал Макс холодильнику. — Семья мечты.

Холодильник промолчал. Он, вообще, был немногословный.

Макс захлопнул дверцу. На плите стояла синяя кастрюля, накрытая тарелкой, а на тарелке, - придавленная солонкой, лежала записка. Мамин почерк он узнал бы и с закрытыми глазами: буквы наклонены вперёд, будто спешат на автобус.

«Суп в синей кастрюле. Греть на малом. Ключи в куртке, проверь. Не ругайся с отцом. Целую. М.»

Не «мама». Просто «М.», как подпись на справке. Макс давно заметил: чем сильнее мама устаёт, тем короче подпись. Когда-нибудь там будет одна точка.

Он поднял тарелку. Суп был холодный, с перловкой, плотный как каша, и сельдерея в нём не было. Сельдерей Макс ненавидел с шести лет, с того самого вечера, когда заревел над тарелкой, а мама, вернувшаяся в десять, молча выслушала, кивнула и с тех пор ни разу его не покупала. Спасибо он ей не сказал. Ни тогда, ни потом. Он даже не был уверен, что она знает, что он заметил.

Он ел стоя, прямо из кастрюли. Большой ложкой, торопливо. Мыть тарелку всё равно было некогда. Суп был чертовски вкусный. Макс разозлился на себя за это.

На спинке стула висела рубашка. Белая, выглаженная, воротник такой накрахмаленный, что им можно было резать хлеб. Мама гладила её, наверное, в три ночи, пока он спал. На их кухне, с линолеумом цвета вчерашнего чая, рубашка смотрелась как невеста на автозаправке.

— Мам, — сказал Макс рубашке, — мне в ней в школе настучат. За выпендрёж. И всё-таки надел.

* * *

Отец лежал в коридоре.

Это тоже было частью утра, как зубная паста и понедельник. Игорь Ветров, сорок три года, лучший плотник района (когда-то), раскинулся поперёк прохода, подложив под голову ботинок. Второй ботинок он держал в руке, будто собирался уходить, но на полдороги передумал стоять. Лицо у него было гладкое и спокойное. Спал он тихо, почти нежно, и от этого было ещё противнее.

Макс постоял над ним. Секунд десять, - не больше.

В такие минуты в нём боролись два желания сразу. Первое: пнуть этот ботинок, заорать: «Ты вообще помнишь, что у тебя сын есть?» Второе: принести плед. Оба сидели в нём, как две собаки в тесной будке, и ни одна не уступала.

Обходить отца он научился за три года. Пять шагов: левая на линолеум, правая на половик, потом длинный шаг через тело. Главное не над лицом, а то выходило слишком похоже на кино, а над коленями. Третья половица от двери скрипела, её надо было перешагнуть целиком. Разбудишь отца, и проснётся совсем другой человек: громкий, обидчивый, с мокрыми глазами и тяжёлой рукой. Потом этот человек извинялся и плакал. Это Макс переносил хуже, чем удары.

Ключи нашлись в куртке. Он проверил их, как просила мама, и уже на пороге, не оборачиваясь, бросил:

— Пап, лежи. Не вставай, а то мир заметит и найдёт тебе работу.

Отец что-то пробормотал во сне. Кажется, имя. Не Максово. Может, кого-то по старой работе вспомнил.

Дверь Макс закрыл тихо. Дом всё равно проснулся: он всегда просыпался, когда тот уходил, и смотрел ему в спину тёмными окнами.

* * *

Автобус опаздывал на пятнадцать минут, как всегда. Тётка в вязаной шапке, с лицом главбуха, сообщила об этом остановке таким голосом, каким сообщают о покойнике:

— Пятнадцать минут. Опять.

Макс пожал плечами и полез за наушниками. Музыка не лечила, но глушила, а для утра этого хватало.

В автобусе он сел к окну, прижался лбом к холодному стеклу и увидел своё отражение. Тощий, долговязый, тёмные вихры, которые мама называла «художественным беспорядком», а учителя называли это иначе. Серые глаза, прищур человека, который ждёт, что его сейчас обманут. Под левым глазом, у скулы, ещё желтел синяк двухнедельной давности.

Он моргнул. Отражение моргнуло.

Только с запозданием. На долю секунды, как бывает, когда видеосвязь подтормаживает. И за эту долю секунды отражение успело сделать что-то ещё: чуть шире растянуть рот. Макс тут же проверил свой. Рот был закрыт.

«Не выспался», — подумал Макс и выбросил это из головы. Последнее, что он выбросил из головы в тот день, не заплатив за это.

* * *

Лёха ждал у школьного забора и подпрыгивал на месте от переизбытка того, чего у Макса давно не водилось. Алексей Громов был круглый, рыжий и такой жизнерадостный, что его хватило бы на целый микрорайон.

— Макс! Видел? Нинуля сегодня зверь.

— Она всегда зверь. Это её нормальное состояние.

— Нет, сегодня особенно. Пробник же в пятницу.

Макс остановился.

— Какой пробник?

— По алгебре! Пробный экзамен. Ты вообще слушал? Она три раза повторила. Оценки в журнал, и всем, у кого меньше четырёх, звонок родителям.

— У меня четыре только по физре.

— Ну вот. Позвонит.

Макс усмехнулся.

— Слушай, а неплохо придумали. Пробник. Это когда ты делаешь что-то не по-настоящему, а оценку ставят по-настоящему. И она потом всю жизнь с тобой ходит. Прямо как у нас, только без права пересдачи.

— Философ, — уважительно сказал Лёха. — Тебе в поэты надо. Или в бомжи. Там то же самое.

Они заржали, и на секунду Максу стало хорошо. Легко и тепло, как от зимнего солнца сквозь грязное стекло. Потом грянул звонок, и всё стало как прежде.

* * *

Нина Павловна Кравцова преподавала алгебру двадцать шесть лет и за это время оглохла на всё, кроме тишины. Когда она входила в класс, тишина успевала войти раньше. Сухонькая, прямая, причёска без единого выбившегося волоса, взгляд, которым можно было найти шпаргалку в кармане, на третьей парте и в параллельном классе.

Макса она любила. Он этого не знал. Знали все, кроме него.

— Ветров, — сказала она, не оборачиваясь от доски. — К доске.

Макс поплёлся. Уравнение с двумя неизвестными было для него чем-то вроде клинописи: значки знакомые, смысла ноль. Он взял мел, и мел вдруг потяжелел.

Живот свело. С утра там лежал только холодный суп, и его хватило ровно до этой минуты. За спиной кто-то хихикнул. Макс вывел «х», поставил знак равенства и надолго уставился на пустое место справа.

— Ветров, — тихо сказала Нина Павловна. — Что такое неизвестное?

— Знаю, — сказал Макс и повернулся к классу. — Это когда живёшь и не понимаешь, на что.

В классе стало тихо. Кто-то фыркнул и сразу осёкся, не поняв, шутка это или нет. Макс и сам не понял. Слова вылетели раньше, чем он успел их поймать.

Нина Павловна смотрела на него долго. Лицо у неё дрогнуло. Не от злости. От чего-то усталого, взрослого, будто она давно видела больше, чем положено учителю, и устала это не замечать.

— Садись, — сказала она. — Три. И останься после уроков.

* * *

Кричать после уроков она не стала. Это было хуже. Налила себе чаю из термоса, села на край стола и сказала:

— Максим, мне нужно поговорить с твоей мамой.

— Она на работе.

— На какой?

— На любой. Выбирайте.

Нина Павловна хмыкнула и тут же испуганно прикрыла этот звук кашлем.

— Я звонила ей три раза. Она не берёт трубку.

— А если возьмёт, придётся отвечать. А если ответит, её уволят. Такая схема.

— Кто придумал эту схему?

— Жизнь, — сказал Макс. — У неё бухгалтерия своя.

Учительница помолчала, глядя на него поверх очков. Потом спросила тихо:

— Дома всё в порядке?

Вот он. Вопрос, которого Макс ждал всю жизнь и ненавидел заранее. Правильный ответ: «Да, конечно». Иногда он так и отвечал, и срабатывало. Но сегодня то ли от недосыпа, то ли из-за этой дурацкой выглаженной рубашки что-то в нём хрустнуло. Тонко, как первый ледок под каблуком.

— В порядке, — сказал он. — Просто тихо. Очень. Знаете, когда все молчат, чтобы никого не разбудить.

Нина Павловна ничего не ответила. Достала из сумки зелёное яблоко, положила перед ним на парту и отвернулась к окну, будто её вдруг заинтересовали облака.

Макс сунул яблоко в рюкзак. «Спасибо» не сказал. Он это слово вообще не выговаривал. Как другие не умеют свистеть.

* * *

Домой он пошёл через пустырь за гаражами. Мама запрещала, а он любил: там никого. Ветер гнал по асфальту фантики, листья и старые жеваные пакеты. Небо висело низко, как потолок в дешёвой гостинице.

На столбе сидел ворон.

Макс остановился. Вороны в городе были такие же обычные, как голуби, только мрачнее. Но этот не ковырялся в мусоре, не орал и не косился. Он сидел совершенно неподвижно и смотрел на Макса. Прямо. Внимательно. С интересом, как смотрят на человека, о котором много слышали.

— Чего? — сказал Макс. — Тоже на тройку живёшь?

Ворон склонил голову набок. Потом развернул крылья, тяжело, с хлопком, как раскрывают чёрный зонт, и ушёл в сторону окраины. Туда, где за гаражами начинались поля, а за полями серела муть, в которой угадывался край света.

Макс постоял ещё немного. Между лопатками стало холодно. Он пошёл домой.

Метров через двадцать он понял, что не слышит города. Ни машин, ни собак. Только свои шаги. Он обернулся. Ворон сидел на прежнем месте и теперь смотрел вслед. День стоял серый, без теней, но у столба тень была: чёрная, резкая. И она тянулась за Максом.

В квартире стояла тишина и отцовский храп, ровный, как метроном. На кухне мигала лампочка. На плите стояла синяя кастрюля.

Он достал яблоко, откусил и сказал вслух, медленно, будто пробовал слова на вкус:

— Нормальная жизнь. Обычная нормальная жизнь.

Холодильник тихо вздохнул. И Максу показалось, что кто-то из них двоих врёт.

Он взялся за дверцу, сам не зная зачем. Изнутри, из-за мёртвой лампочки, что-то отозвалось: глубоко, густо, как гудит большой пустой колокол. Макс отдёрнул руку. В этом холодильнике, как известно, ничего не было.

Глава 2. Суп в три часа ночи

Макс проснулся не от звука, а оттого, что звук кончился.

Такому в школе не учат: просыпаться, когда в доме что-то меняется. Щёлкнул замок, значит, пришла мама. Отцовский храп сбился, как мотор на подъёме, и стих. Значит, отец тоже проснулся. На будильнике горело 02:47. Макс полежал, глядя на потолок, где от уличного фонаря жила жёлтая трещина, похожая на карту какой-то страны. Страну он про себя звал «Где-нибудь не здесь» и знал в ней каждую реку.

На кухне загремела посуда. Сначала осторожно, потом смелее. Потом заговорили.

Стены в их квартире были такие, что слышно, как сосед двумя этажами выше передумывает насчёт ужина. Подслушивать Макс начал давно и этим не гордился. Это была его единственная форма семейной жизни. Родителей он различал по шагам: мамины лёгкие, быстрые, словно она боится продавить пол, и отцовские, тяжёлые, с остановкой после каждого, как у человека, который тащит через вокзал чужой чемодан.

— Чего не спишь? — спросила мама.

— Слышу, ты пришла.

— Я тихо.

— Ты всегда тихо, Оль. Потому и слышу.

Пауза. Макс почти увидел, как мама ставит сумку на табурет и стоит, не снимая куртки. Снять куртку значило признать, что она дома. А дома надо было что-то делать.

— Чай будешь? — спросил отец.

— Буду.

— Я поставлю.

— Игорь, не надо, ты же...

— Я трезвый, Оль. С обеда трезвый.

Это была правда. Макс слышал по голосу: ровному, но осторожному, как свежеокрашенная скамейка, на которую ещё страшно садиться. С обеда отец был трезвый, а вечером Макс переступал через него в коридоре. Трезвость в их доме была вроде государственной границы: сегодня есть, завтра нет, и никто не предупреждает.

Мама чиркнула спичкой.

Колонка у них не зажигалась автоматом уже полгода: всё руки не доходили, точнее, деньги. Но спичка сегодня зашипела как-то не так. Зло, слишком долго. И мама быстро, почти испуганно сказала:

— Тише ты.

— Что «тише»? — не понял отец.

— Ничего. Спичка отсырела.

Макс приподнялся на локте. Эта мелочь застряла в нём, как заноза. Мама говорила со спичкой. Не ругалась, не шутила. Говорила, как с собакой, которая вот-вот залает при гостях.

«Устала, — решил он. — Когда работаешь на трёх работах, и не такое скажешь».

Он снова лёг. Но уши остались на кухне.

— Мне Нина Павловна звонила, — сказала мама.

— Это кто?

— Классная Макса.

— А. Что-то натворил?

— Ничего.

Молчание. Чайник начал свою долгую внутреннюю работу.

— В том-то и дело, Игорь, что ничего. Говорит, он стал странный. Смотрит в одну точку, отвечает невпопад. Спросила, всё ли у нас дома хорошо.

— А ты что?

— Что всё хорошо.

Отец тихо засмеялся. Невесёлым смехом человека, который услышал собственный анекдот чужим голосом.

— Ну да. У нас же всегда всё хорошо.

— Не начинай.

— Я не начинаю. Я просто... — Чашка стукнула о блюдце. — Слушай, я с Пашкой говорил. У него знакомый берёт на склад. Платят нормально. Я в понедельник схожу.

— Ты в прошлый понедельник ходил.

— Просто не дошёл.

— Я знаю, что не дошёл. Я у Пашки была, когда ты не дошёл.

Макс закрыл глаза. Вот так они и разговаривали: два человека, которые давно нашли друг у друга все больные места и теперь аккуратно их обходят. И всё равно задевают.

— Я не могу потерять ещё и его, — сказала мама.

Тихо, почти в чашку. Но Макс услышал и замер.

«Ещё и».

Эти два слова упали на кафель, как ключи. Громко, и не сделаешь вид, что не слышал. Кого «ещё»? У мамы была родня где-то далеко на севере, о которой она не говорила. Бабушка с дедом умерли до его рождения. Но «ещё и» звучало иначе. Как будто в маминой жизни есть комната, дверь которой заколочена, а на дверь повесили табличку «Добро пожаловать».

— Оль, — сказал отец. — Я могу...

— Не надо.

— Ты не знаешь, что я скажу.

— Знаю. «Я всё исправлю». Ты уже говорил. Давай поживём без этого хотя бы денёк.

Стало так тихо, что слышно было, как чайник решает, закипать ему или нет. Скрипнул стул, шаркнули шаги, отец ушёл в комнату. Дверь прикрыл осторожно. Старался. Макса от этого кольнуло острой, непрошеной жалостью, и он разозлился на всех сразу, на себя тоже.

На кухне остался один звук. Нож по доске.

Мама снова готовила.

* * *

Он вышел через десять минут, босиком, в старой футболке с группой, о которой не помнили даже её фанаты. Кухню заливал свет, какой бывает только в ночных кухнях: жёлтый, густой, жалеющий. Он стирал морщины и лишние годы, и мама в нём была почти как на той фотографии, где она, совсем молодая, стоит на фоне какого-то озера и смеётся, придерживая волосы рукой.

На плите стояла большая кастрюля. Мама резала лук. Спиной к нему.

— Садись, — сказала она, не оборачиваясь.

— Я не...

— Садись, Макс.

Он сел. Перед ним, как из воздуха, появилась тарелка: ломоть чёрного хлеба, чеснок. Мама посолила хлеб. Это был их тайный ритуал, о котором вслух не говорили: после ночных смен она кормила его хлебом с чесноком, будто он маленький, а она не валится с ног.

— Ты зачем суп варишь? — спросил он. — Утром же был.

— Это на завтра. Утренний ты съел?

— Съел.

— Холодный?

— Нормальный.

— Холодный, — вздохнула она. — Я не успеваю разогреть, а когда ты приходишь, он уже ледяной. Так что сварю сейчас, а утром поставлю на подоконник. К твоему приходу чуть тёплый будет.

Макс уставился на неё.

— Ты ставишь суп на подоконник, чтобы он нагрелся?

— Солнце же. К часу как раз.

Он открыл рот и закрыл. Что сказать женщине, которая высчитывает температуру супа по положению солнца для сына, обзывающего холодильник «честным»? Как будто узнал, что враг годами тайком подкладывал тебе еду.

— Мам, у нас солнце на кухне только до двенадцати.

Мама замерла с ножом.

— Правда?

— Правда.

— Вот чёрт, — сказала она очень тихо и очень по-человечески. И вдруг засмеялась. Надтреснуто, в кулак, чтобы не разбудить отца. Макс тоже захихикал и сам не понял почему. Они сидели на кухне в три часа ночи и давились беззвучным хохотом, как двое, которых застукали за чем-то неприличным.

Потом смех кончился. На лице мамы проступила усталость, которую она обычно прятала за делами.

— Макс. — Она села напротив и положила руки на стол. Красные, сухие пальцы в трещинках от хлорки. — Ты как?

— Почему все меня об этом спрашивают?

— Потому что ты не в порядке.

— Мам, мне четырнадцать. Я по определению не в порядке.

— Это Нина Павловна тебя научила?

— Это я сам. По жизни.

Она посмотрела на него. Без упрёка и без жалости. С тем спокойным вниманием, от которого ему всегда хотелось и спрятаться, и придвинуться ближе. В её глазах было слишком много чего-то, чему он не знал названия, и мама на секунду стала человеком, которого он совсем не знает.

— Я хотела бы, чтобы у тебя было другое детство.

— Мам...

— Правда хотела бы. Всё думаю, как тебе его дать. И не выходит.

— Мне другое не надо, — буркнул Макс в тарелку. — Это нормальное. Кризисное, но нормальное.

— Не ври.

— Я не вру.

— Врёшь, — сказала она так просто, что у него перехватило горло. — Потому что любишь меня. Я тоже так делала, когда была тобой.

Он хотел спросить, когда она была им и что тогда случилось. Спросить про «ещё и». Про спичку. Вопросов набралось много, как снега в феврале, и все они примёрзли к языку.

— Рубашку зря гладила, — сказал он вместо этого. — Всё равно перемажут.

Мама моргнула.

— Какую рубашку?

— Белую. Что на стуле висела.

— Я её не гладила.

Он смотрел на неё. Фраза была самая обычная, но по спине побежал холодок, тонкий, как нитка.

Утром, снимая рубашку со стула, он трогал воротник. Воротник был горячий. Не тёплый. Горячий, как у вещи, которую только что сняли с утюга.

— В смысле?

— Я сегодня в пять сорок вышла, ты что, забыл? Я даже в комнату не заходила, сразу...

Она запнулась и пригляделась к нему.

— А. Да. Гладила. Ночью. Ты не помнишь, ты спал.

Говорила она слишком ровно, как человек, который достаёт слова из запасного ящика. Макс промолчал. С него на сегодня хватало странного. Рубашку наверняка выгладил отец. Или соседка. Или это было одно из тех чудес, что в их доме назывались «мама успела».

Через полчаса он слопал вторую тарелку супа: горячего, густого, с перловкой, без единого кусочка сельдерея.

— Ты же не любишь сельдерей, — сказала мама, ставя тарелку, как будто это нужно было сказать непременно. — Я его выловила.

Она выловила сельдерей из супа, который варила в три ночи. Просто выловила.

— Спасибо, — сказал он.

Само вырвалось. Он не успел перехватить. Слово повисло над столом чужое, как новая мебель в старой комнате.

Мама застыла. Ложка остановилась на полпути, потом осторожно опустилась в кастрюлю.

— Не за что.

Голос у неё дрогнул. Чуть-чуть. Макс сделал вид, что не заметил, а она сделала вид, что не заметила, как он сделал вид. Так они и жили: на стопке пониманий, как на стопке одеял.

* * *

Он лёг и слушал, как мама моет посуду.

Вода текла долго. Для двух тарелок и ложки слишком долго. Макс знал этот приём, сам им пользовался: пустить воду, чтобы заглушить звук. Звук через стену был тихий, мокрый, ровный, как дождь, который никак не решит, начинаться ему или нет.

Он не пошёл. Не знал как. Никто не объяснил ему, как входить на кухню, где человек плачет в раковину, и что говорить, чтобы не стало хуже. В школе этого не проходили. В жизни тоже. Он лежал, смотрел на свою жёлтую страну на потолке и думал: «Я уеду. Стану кем-нибудь, и у неё будет всё. Слышишь, мам? Вот прямо всё».

Враньё. Он знал. Мальчики из таких квартир не становятся кем-нибудь. Но враньё было тёплое, как суп на подоконнике до полудня, и он держался за него, пока не заснул.

А на кухне текла вода. Мама стояла у раковины и смотрела на свои руки. И на левой ладони, там, где обычно не было ничего, тлел тонкий огонёк, как у спички, которая никак не догорит.

Она сжала кулак. Огонёк погас.

Но в тёмном окне над раковиной на секунду остался второй, тоньше первого. Зелёный. Он смотрел не на неё. Он смотрел внутрь квартиры, туда, где спал Макс.

— Не сейчас, — прошептала она в пустоту. — Пожалуйста. Не сейчас.

Глава 3. Драка

Кирилл Бобров был из тех, кто рождается взрослым и потом всю жизнь доказывает, что ему это по плечу. Девятый «Б», метр восемьдесят два, голос сломался и теперь, похоже, ломал остальных. Он любил стоять посреди коридора так, чтобы все обтекали его, как река камень. Только камни при этом не улыбаются.

Во вторник, на большой перемене, он улыбался особенно широко.

— О, Ветров! — Голос ленивый, сытый, как у кота после сметаны. — Слышь, батя твой вчера у ларька пел. Душевно так. «Ой, мороз, мороз». Мы с пацанами на телефон записали. Скинуть?

Макс остановился.

Это была ошибка. Правило он знал: окликнули в коридоре, идёшь дальше. Не оборачиваешься, не отвечаешь, не показываешь, что услышал. Девять лет правило работало, с самой первой линейки. А теперь он стоял посреди коридора, и в ушах густела горячая, плотная тишина, какая бывает за секунду до того, как что-то хрупкое упадёт на пол.

— Не надо, — сказал он.

— Чего «не надо»? Я от души. Народное творчество, Ветров. Наследие. Вы с мамкой небось подпеваете по вечерам?

Лёха, стоявший рядом с пакетом сушек, глянул на Макса и тихо сказал:

— Макс. Не надо.

Но это уже звучало где-то далеко, как объявление на соседнем вокзале.

Макс ударил.

Без замаха, без мысли в голове. Кулак просто ушёл вперёд, будто его бросили, и врезался Кириллу в скулу. Звук получился глухой и мокрый, как если уронить мешок картошки. Кирилл, к собственному изумлению, шагнул назад. Не упал. Стоял, держась за лицо, и смотрел на Макса, будто тот заговорил на латыни.

Потом всё стало очень быстро и очень громко.

Кирилл бросился вперёд. Губа, бок, опять губа. Мир накренился. Откуда-то издалека Лёха заорал: «Разойдись, придурки!» — и, судя по звуку, швырнул в Кирилла сушками, всеми сразу. Сушки раскатились по линолеуму с весёлым стуком, и на секунду в этом было что-то до того нелепое, почти праздничное, будто на похоронах запустили салют.

А потом мигнул свет.

Макс не заметил. Никто не заметил. Только Нина Павловна, шедшая по коридору с журналом под мышкой, остановилась и подняла голову. Длинные холодные лампы над ними, давно просившие замены, вдруг зажужжали, как осы в банке. Жужжание на миг сложилось в слово, короткое, почти знакомое. Потом лампы вспыхнули так, что заломило глаза, и погасли. Одна за другой. Трр-рык. Трр-рык. Трр-рык.

В полутьме все замерли.

— Это чего? — хрипло спросил кто-то.

— Автоматы выбило, — ответил кто-то умный.

Макс стоял, хватая воздух. Руки у него дрожали, и не от драки. Дрожь шла изнутри, из грудной клетки, горячая, колючая. Будто он нажал случайно на кнопку, которой тут быть не должно, и теперь не знал, что именно включил.

* * *

Завуч Зоя Львовна Крылова считала, что любой разговор с подростком надо начинать с долгой паузы. Она тянула её, как рыбак леску: терпеливо, не моргая, не давая добыче надежды.

Макс сидел на стуле для провинившихся (на спинке было вырезано чьё-то давнее признание в любви, адресованное, судя по почерку, математике) и смотрел на свои ботинки. Во рту был вкус железа. Губа распухла и дёргалась в такт настенным часам. Кирилл сидел на соседнем стуле с видом оскорблённой добродетели, прижимая к скуле мокрую салфетку. Лёху выставили в коридор, и оттуда было слышно, как он пыхтит под дверью, прижавшись ухом.

— Я хочу услышать, что произошло, — сказала наконец Зоя Львовна.

— Он меня ударил, — быстро сказал Кирилл.

— Он оскорбил моего отца, — тихо сказал Макс.

— Я пошутил.

— Он пошутил, — подтвердил Макс. — Я тоже пошутил. Просто у меня юмор такой. Тяжёлый.

Завуч прищурилась. Щуриться она умела так, что становилось ясно: про тебя она знает больше, чем ты сам, и делиться не собирается.

— Родителей вызвали. Обоих.

— Отца не надо, — быстро сказал Макс.

Пауза. Зоя Львовна посмотрела на него чуть дольше, чем нужно, и что-то в её лице сдвинулось на миллиметр.

— Хорошо, — сказала она. — Мать.

* * *

Мама пришла в половине четвёртого.

Переодеться она не успела. Макс понял это сразу, как только открылась дверь: синяя рабочая куртка с белой нашивкой «КлинСервис», мятые брюки, мокрые от дождя волосы, выбившиеся из-под резинки. От неё пахло хлоркой и ещё чем-то вокзальным, дорожным. Руки красные, сухие. В левой она так и держала пластиковое ведро, забыв оставить его в коридоре.

Кирилл мельком глянул на неё и едва заметно усмехнулся. Макс увидел эту усмешку. Увидел очень чётко, как вспышку.

— Здравствуйте, — сказала мама. — Извините, я с работы. Что случилось?

Так говорят люди, привыкшие, что после «что случилось» бывает только плохое.

Зоя Львовна изложила. Коротко, сухо, словами для протокола: «драка», «вред здоровью», «нарушение дисциплины», «необходимость принять меры». Мама слушала и кивала. Кивала она тоже по-особому: опускала голову и держала её внизу чуть дольше, чем нужно. Макс смотрел на этот кивок, и внутри у него медленно что-то подламывалось. Не с треском. Как ломается тонкий лёд, когда ты уже понял, что провалился, а холода ещё не почувствовал.

— Простите, — сказала мама, когда завуч закончила. — Он обычно не такой. Я с ним поговорю. Конечно. Если надо что-то оплатить, мы...

— Мам, — сказал Макс.

— Подожди, Максим.

— Он про папу...

— Подожди.

Голоса она не повысила. Никогда не повышала. Вот это и было страшно: на крик у неё тоже не осталось сил, как и на всё остальное.

Кирилл откинулся на спинку стула. Он уже понял, чем всё кончится: к нему никто не придёт, а Бобров-старший, хозяин какого-то бизнеса на проспекте, наверняка уладит дело. На Макса Кирилл смотрел с таким скучающим видом, будто разговор его больше не касался.

— Я куплю ему салфетку, — сказал Макс.

Все повернулись.

— Что? — спросила Зоя Львовна.

— Салфетку. Раз мы всё компенсируем. Эта мокрая. Куплю сухую. И ещё прибавлю что-нибудь. Совесть, например. Хотя в магазинах её не продают, придётся заказывать.

Мама закрыла глаза.

Зоя Львовна открыла рот.

А лампа над ними — обычная, пыльная, с мёртвой мухой внутри плафона — хлопнула и осыпалась на пол сотней осколков. Стекло брызнуло во все стороны. Кирилл вскрикнул и закрыл голову руками. Зоя Львовна вскочила. Стекло сыпалось и сыпалось. Макс смотрел вниз, на пол. В каждом осколке, в сотне маленьких кривых зеркал, он видел своё лицо. И ни в одном не было его выражения. Они все улыбались. Когда стихло, Макс услышал, как мама сказала очень тихо, очень ровно:

— Ох, нет.

Она смотрела на потолок. Не на Макса, не на осколки. На потолок. И на лице у неё был не испуг, а кое-что похуже: узнавание. Так смотрят на старого знакомого, которого последний раз видели лет десять назад и надеялись больше не увидеть.

* * *

Домой шли пешком.

Мама молчала. Макс тоже. Дождь моросил так мелко и настырно, что воздух казался мокрой марлей. Мимо магазинов с яркими вывесками, мимо остановки, где вечно толпился народ, мимо пекарни, откуда несло тёплой сдобой. У пекарни мама остановилась.

— Подожди.

Вышла через минуту с бумажным пакетом, тёплым, с жирным пятном на боку. В пакете был один пирожок с картошкой. Она протянула его Максу.

— Ешь.

— Мам...

— Ешь. Ты же не обедал.

— Ты не злишься?

Она посмотрела на него. По лицу у неё стекал дождь, и в уголках глаз блестела вода, не только дождевая, он знал.

— Нет, — сказала она. — Не злюсь. Сил нет.

Лучше бы кричала. Макс откусил от пирожка, и тот сразу стал сухим, как бумага. Он жевал и смотрел под ноги. Хотелось, чтобы она заорала, ударила, сказала: «Ты позор семьи». Тогда можно было бы огрызнуться, хлопнуть дверью, уйти, и они были бы квиты. А так он оставался в долгу, а долг, который нечем отдать, давит сильнее всего.

— Мам, этот Бобров... Он про отца сказал.

— Я слышала.

— Я не мог...

— Знаю.

— Он правда пел у ларька?

Мама ответила не сразу.

— Правда. В пятницу.

Макс остановился. Мама тоже. Они стояли посреди мокрой улицы, и между ними медленно оседало что-то тяжёлое, как пыль после обвала.

— Ты знала?

— Мне позвонили.

— И ты мне...

— А что я должна была сказать, Макс? — Голос у неё дрогнул впервые за день. — Что твой отец поёт у ларька? Ты и так знаешь. Ты большой. Но я не могла вслух. Скажешь, и станет правдой. Понимаешь? Пока не сказано, ещё можно думать, что...

Она не договорила. Стояла с пустыми руками, в синей куртке, под дождём, и вдруг оказалась очень маленькой. Макс впервые увидел, какая она худая. И что хорошей куртки у неё давно нет.

Он хотел обнять её. Руки сами дёрнулись. Но он вспомнил про Боброва, про осколки, про «ещё и» и сказал почти грубо:

— Пошли. Холодно.

Мама кивнула, как всегда: чуть дольше, чем нужно.

У самого подъезда она вдруг сказала, не глядя на него:

— Макс. Лампа.

— Что лампа?

— Ты ничего не почувствовал? Когда она лопнула.

Он подумал.

— Злость. Много. Но это не новость.

Мама медленно кивнула и больше ничего не спросила. Открыла дверь подъезда, и они вошли в темноту: лампочка тут не горела уже месяц, и ни он, ни она не стали её чинить.

Глава 4. Письмо из ниоткуда

Почтовый ящик в их подъезде не открывался лет пять. То есть открывался, но только если врезать кулаком в левый нижний угол и сказать ему что-нибудь обидное. Этот способ Макс освоил во втором классе и считал единственным по-настоящему полезным навыком, которому его научила жизнь.

В среду он вернулся раньше обычного: последний урок отменили, физручка заболела, а завхоз, видимо, решил, что дети без присмотра безопаснее, чем с физруком. Макс поднялся на второй этаж, привычно стукнул по ящику, шепнул: «Позор почтовой индустрии» — и дверца со стоном подалась.

Внутри лежали три квитанции за коммуналку, реклама пиццерии, где кто-то шариковой ручкой пририсовал улыбающемуся повару усы, и конверт.

Конверт был другой.

Сначала бумага. Не белая, не гладкая, как у нормальных писем, а серая, шершавая, будто её сделали вручную из чего-то, что раньше росло. Потом запах. Дым, хвоя и что-то холодное, чему Макс не сразу нашёл слово. Потом нашёл: так пахнет воздух перед снегом, когда стоишь на улице в одной куртке и понимаешь, что зима будет злая.

Адрес был выведен крупно, угловато, будто человек выцарапывал буквы гвоздём. «Ветровой Ольге Андреевне». Ниже, помельче: «В руки. Не мужу».

Макс перевернул конверт. Обратный адрес: «Выселки». Штемпель смазан, но слово читалось. Ни области, ни района, ни индекса. Просто «Выселки», будто все остальные и так знают, где это.

— Выселки, — пробормотал он. — Звучит как диагноз.

Он мог сунуть письмо обратно. Мог положить на стол к квитанциям. Мог притвориться, что ящик сегодня не открылся. Но «ещё и», которое второй день сидело у него в груди рыбьей костью, шевельнулось и спросило: «Ну?»

Он вскрыл конверт прямо на лестнице, присев на ступеньку между вторым и третьим этажом. Бумага хрустнула. Внутри был один лист, исписанный тем же гвоздевым почерком, и сухая веточка, перевязанная красной ниткой. Макс отложил веточку, но та успела кольнуть палец. На подушечке выступила капля крови. Он сунул палец в рот: железо, дым и ещё какой-то вкус — незнакомый, но почему-то узнаваемый.

Письмо начиналось без приветствия.

«Оля.

Это Семён. Знаю, ты не хотела мне отвечать, и я не в обиде. Не за что мне на тебя обижаться, ты решила как решила. Только дело теперь не в тебе.

Парню четырнадцать. Я почуял за триста вёрст ещё в сентябре: у печки что-то треснуло без причины, а птицы с утра развернулись над Выселками. Кровь просыпается. Ты знала, что так будет, не притворяйся. Рано или поздно это случается со всеми, у нас в роду по-другому не бывает.

Можешь сделать два дела. Привези его сюда сама, пока не поздно, я научу как надо, по-человечески, без шелухи. Или не вези. Тогда им займётся кто-нибудь из наших, и ты знаешь кто, и знаешь, что с ним сделают.

Лампочки у вас, поди, уже мрут?»

Макс остановился.

Перечитал последнюю строчку. Ещё раз. По позвоночнику потянуло холодом, вязким, как мазут. Лампочки. Лопнувший плафон в кабинете завуча. Мигающий свет в коридоре. Мамино «Ох, нет», сказанное тихо, с узнаванием.

— Бред, — сказал он вслух. — Секта какая-то.

Но руки подрагивали. И не от страха. Дрожь была странно живая, такая бывает, когда тебя вдруг окликнули по настоящему имени.

Он читал дальше.

«Он слышит имена, да? Как слышали мы с тобой в его годы. Скажи ему, что это не болезнь.

С.»

Макс сидел на ступеньке и смотрел на лист, пока буквы не поплыли. Потом внизу хлопнула дверь, и по лестнице, быстро, мамиными лёгкими шагами, кто-то стал подниматься.

* * *

Она увидела его с письмом в руках.

Её лицо он потом не забыл. Не страх, не злость. Что-то тоньше. Лицо человека, который полкомнаты пронёс чашку, налитую до краёв, и споткнулся на последнем шаге. Чашка уже летит, а он смотрит, как она летит.

— Дай, — сказала мама.

— Мам...

— Дай сюда. Сейчас.

Не крикнула. Протянула руку, и рука не дрожала. Макс отдал. Что ему оставалось? Четырнадцать лет, разбитая губа и чужой вкус крови во рту.

Мама взяла лист вместе с веточкой, не глядя на неё, поднялась на оставшиеся ступеньки, открыла дверь. Макс пошёл следом. В квартире было тихо: отец ушёл на какое-то «собеседование», оставив в прихожей запах одеколона, а в зеркале след торопливо поправленного галстука. Галстук был единственной вещью в доме, которую никогда не надевали дважды. Отец покупал его перед каждым «новым началом» и терял за неделю.

Мама прошла на кухню. Чиркнула спичкой.

Спичка вспыхнула как положено, жёлтым. Мама поднесла к ней письмо, и бумага занялась сразу, жадно, будто только того и ждала. Мама держала лист за уголок, пока огонь полз по

строчкам, пока «Оля», «Семён» и «кровь» не свернулись чёрными завитками. Потом бросила его в раковину.

Тут огонь изменился.

Был жёлтый, стал зелёный. Яркий, ядовитый, как весенняя трава, как свет в аквариуме. Он взвился выше, чем мог бы, дёрнулся, и на секунду принял форму, которую Макс потом не мог описать никому. Что-то птичье, острое, с раскинутыми крыльями. Голова птицы повернулась к двери кухни, где стоял Макс. Потом огонь осел и погас. Остался запах хвои и серый пепел, который мама смыла струёй.

Она стояла к Максу спиной, упираясь руками в края раковины. Плечи поднимались и опускались.

— Мам, — сказал Макс тихо. — Что это было?

— Не то, что ты думаешь.

— Я ничего не думаю. Я вообще не понимаю...

— Это просто письмо. От дальнего родственника. Он слегка не в себе, давно так пишет. Тебе не надо...

— Мам.

Она замолчала.

— Зелёный огонь, — сказал Макс. — Бумага, которая пахнет лесом. Лампочки. Ты со спичкой разговаривала. Я не слепой.

— Макс...

— И я прочитал. Всё. Там про меня.

Мама обернулась. Лицо серое, как пепел в раковине. Глаза огромные, блестящие, и в них Макс увидел то, чего раньше не видел: страх. Не за себя. Тихий и древний, без единой человеческой нотки, один инстинкт.

— Ты прочитал, — повторила она.

— Про кровь. Про Выселки. Про то, что у меня...

Слово застряло. Он не знал, как называется то, что у него. Не знал, есть ли оно вообще.

Мама опустилась на табурет, не сняв куртки. Положила руки на колени, помолчала и только потом заговорила:

— Я думала, у нас ещё есть время.

— Время на что?

— На всё.

В дверь позвонили. Оба вздрогнули. Мама встала и пошла в прихожую, на ходу вытирая ладони о брюки, как человек, которого застали за чем-то нехорошим. Макс остался на кухне. Он слышал, как щёлкнул замок, как скрипнула дверь, как бодрый старческий голос сказал:

— Олечка! А я вам соли принесла, у вас же вчера кончилась, а у меня лишняя.

Баба Клава из соседней квартиры. Она знала про каждого жильца всё, включая то, чего он сам про себя не знал.

— Спасибо, Клавдия Петровна. У нас не...

— Да бери, бери. Слыхала, у вас в школе лампы повзрывались? Зоя Львовна на лестнице рассказывала. Колдовство, говорит.

Макс замер. Даже дышать перестал.

— Что вы, — сказала мама мёртвым голосом. — Какое колдовство. Проводка старая.

— Ну, может, и проводка, — легко согласилась баба Клава. — А я вот думаю, Максимка у вас парень непростой. Глаза у него. Как у матери твоей были. Как у Анфисы Петровны, царствие небесное. Она на меня раз глянула, так у меня потом три дня молоко в кастрюле не киснет.

Тишина.

— Спасибо за соль, — очень тихо сказала мама.

Дверь закрылась. Мама вернулась, поставила пачку на стол и села напротив Макса. Они долго смотрели друг на друга. Он видел в её лице своё: упрямый подбородок, сведённые брови и тот же страх, переодетый в усталость.

— Расскажи, — сказал он.

— Не сегодня.

— Мам.

— Не сегодня, Макс. Дай мне одну ночь. Я расскажу. Обещаю. Одну.

В этом «одну» было столько просьбы, что отказать было нельзя. Он кивнул.

— Одну.

— Спасибо.

Второе «спасибо» за три дня. По меркам их семьи это была почти инфляция.

* * *

В ту ночь Макс не спал.

Лежал, смотрел на жёлтую трещину и перебирал, что знает. Знал мало. Мама родом из северной деревни, куда не ездила двадцать лет. Бабушку звали Анфиса Петровна, и она рано умерла. Дядя Семён существует и пишет письма, пахнущие дымом. А ещё по какой-то причине, стоило Максу разозлиться, взрывались лампочки. Но это можно было пережить. У других подростков лопаются прыщи, а у него лампочки. Каждому — своё.

Но одного он не мог понять: того мига на лестнице, когда сухая веточка колет палец, и во рту дым и кровь. Тогда ему не стало страшно. Тогда ему стало правильно. Как будто последний кусок пазла, который он годами таскал в кармане, наконец щёлкнул на место.

Это чувство он возненавидел. И хотел ещё.

За стеной ворочался отец, вздыхая, как корабль у причала. За другой стеной ходила мама: шаг, шаг, пауза, шаг, будто искала что-то в темноте и боялась найти. Он слушал, пока не понял, что она тоже не спит. Что она тоже репетирует завтрашние слова.

Впервые за много лет ему хотелось, чтобы завтра не наступало.

Оно наступило. Без стука.

Вернее, стук был. Около трёх ночи что-то трижды ударило в оконное стекло: сухо, терпеливо, как стучат костяшками пальцев в дверь. Макс лежал, не дыша. Потом заставил себя повернуть голову. На наружном подоконнике, на втором этаже, сидел ворон. Он смотрел не в комнату. Он смотрел на кровать. Макс моргнул, и подоконник опустел. На стекле осталась тонкая царапина, и от неё тянуло хвоей.

Глава 5. Кровь рода

Она пришла в четыре утра.

Макс не спал. Слышал, как она подошла к двери, постояла и тихо толкнула. Мама вошла, как входят в палату к тяжёлому больному: на цыпочках, стараясь не дышать. Села на край кровати, матрас скрипнул. В свете фонаря, пробивавшемся сквозь занавеску, лицо у неё казалось восковым.

— Не спишь.

— Ты тоже.

— Я давно разучилась.

Она помолчала. Потом, глядя не на него, а в тёмный угол, где стоял сломанный стул, заваленный одеждой, начала говорить. Ровно, тихо, как читают текст, который знают наизусть и терпеть не могут.

— Моя мать, твоя бабушка Анфиса, была колдуньей.

Макс не засмеялся. Хотел, но не получилось. В темноте это прозвучало просто, как «бухгалтер» или «медсестра».

— Не как в сказках. Без метлы. Котёл, правда, был, она в нём варенье варила. Наш род называется славники. Слово древнее. Мы работаем с огнём, с лесом, с именами. С тем, что было до людей и будет после. Северное колдовство, славянское. Старое.

— Мам. Ты шутишь?

— Я никогда в жизни не была так серьёзна.

Она повернулась к нему. В полумраке он увидел мокрые щёки. Вытирать их она не пыталась.

— Я родилась в Выселках. Это за Мёртвым Бором. Тридцать домов, одна улица, магазин по средам. Автобус туда не ходит. Вообще ничего не ходит, кроме тех, кто знает дорогу. Брат мой Семён там остался. Я ушла в семнадцать.

— Почему?

— Не захотела.

Она сказала это, как говорят про диету или неудачную стрижку. Но под этой простотой лежала тёмная, глубокая вода, и Макс её чувствовал.

— У нас в роду закон есть. В четырнадцать каждый делает выбор. Кровь просыпается. Начинаешь слышать, видеть, чувствовать то, чего другие не чувствуют. Сила приходит сама, как взросление. А потом тебя спрашивают: остаёшься или нет. Принимаешь или нет. Если принял, то навсегда. Назад не отыграешь.

— А если нет?

— Тогда отказываешься, и всё стихает. Сила засыпает. Живёшь как все.

— Ты отказалась.

— Я отказалась.

Макс сел. Одеяло съехало, и стало холодно. В голове гудело от слов, которые никак не помещались.

— Но почему? Если у тебя было такое... Ты могла бы...

— Что, Макс? Что могла бы? — Она вдруг усмехнулась, горько. — Работать на трёх работах? Жить с мужем, который пьёт? Смотреть, как сын ест холодный суп? Так я и это делаю.

— Я не...

— Шучу. Это я нервничаю. — Она потёрла лицо ладонями. — Слушай. Я скажу то, что мне мать не успела сказать. Нет, успела. Я не слушала. Дорог две. Светлая: те, кто остаётся, служат лесу и людям, лечат, оберегают, знают, где что растёт и когда сеять. Их мало. Семён такой. И тёмная. Те, кто решил, что сила дана, чтобы брать. У леса, у людей, у других колдунов. Живут долго, очень долго, и ничего не чувствуют. Их зовут Тени Рода. Из наших двое. Ты их не знаешь, и слава Богу. Баба Зина и дядя Гриша. Они ждут. Всегда ждут свежую кровь.

— Зачем?

— Чужая сила, особенно молодая, для них как батарейка. — Лицо у неё скривилось от брезгливости. — Я им отказала в семнадцать и потом всю жизнь пряталась. Замуж вышла, фамилию сменила, переехала. Не нашли. Но я знала, что рано или поздно придут за твоей. Кровь не обманешь.

Макс молчал. В голове, как в хорошо смазанной машине, щёлкали детали: письмо, огонь, лампы, «ещё и», мама и спичка.

— «Ещё и», — сказал он вслух. — Ты папе сказала: «Я не могу потерять ещё и его».

Мама дёрнулась.

— Ты слышал.

— Стены тонкие.

— Да. — Она кивнула. — Я потеряла. Давно. Об этом не сейчас, не проси. Но я себе поклялась: у тебя будет нормальная жизнь. Я не дам...

— Нормальная? — перебил Макс.

Вырвалось само. Резко, со злостью, о которой он не знал.

— Мам, у нас нет нормальной жизни. У нас холодильник с мышью. Отец спит в коридоре. В классе смеются, что я борщ у соседки из третьего подъезда ем, когда дома пусто. Ты хочешь, чтобы я за это держался?

Мама побледнела.

— Макс...

— Ты говоришь: сила, выбор. Говоришь, у меня может быть то, чего ни у кого нет. И просишь отказаться. Ради чего? Ради вот этого?

Он обвёл рукой комнату: сломанный стул, облезлые обои, окно, в котором фонарь дрожал в лужах.

— Ради тройки по алгебре и холодного супа?

Мама молчала. Смотрела на него, и в глазах у неё медленно, как свет в конце туннеля, появлялось что-то, что он не успел разобрать.

— Я не могу, — прошептал он. — Так больше не могу, мам. Если у меня есть билет отсюда, я его возьму.

— Это не билет.

— А что?

— Долг.

Она сказала это так тихо, что он едва расслышал. И ему стало стыдно. Остро, до боли, как если наступил на что-то мягкое и живое. Но стыд был маленький, а то другое, горячее, жадное, звенящее, что он почувствовал на лестнице с письмом в руках, было огромное. И оно победило.

— Расскажи про имена, — сказал он, уводя разговор. — Он написал, что я слышу имена. Это что?

— А ты слышишь?

Макс задумался. Сколько раз за последние годы он ловил себя на том, что знает, как называется то, у чего нет названия? Как они сами себя зовут: вещи, люди, звуки. У каждого предмета как будто был шёпот, на самом краю слуха, и этот шёпот был его настоящим именем. Он думал, у всех так. Что это нормально, как слышать своё сердце, когда лежишь в тишине.

— Холодильник, — сказал он. — Вчера вздохнул, когда я назвал его честным. Не обиделся. Смутился. Его зовут... Гулкий. Нет. Глубокий. Или... — Он прикрыл глаза. — Низкий-долгий. Звук такой.

Мама смотрела, не мигая.

— Чайник. У чайника дурацкое имя, он Недовольный-кипящий. А у тебя...

Он замолчал.

— Что у меня?

Макс открыл глаза. Перед ним была усталая женщина в старой кофте, с красными руками и мокрыми щеками. И имя пришло само. Не Ольга. Другое. То, что жило под этим.

— Вода, — сказал он тихо. — Вода подо льдом. Сверху всё замёрзло, а она течёт.

Где-то в стене, за обоями, булькнуло. Загудела труба. Из кухни донёсся плеск: кран открылся сам, и вода побежала в раковину тонкой ровной струйкой, как будто кто-то долго ждал в разговоре своей очереди и наконец вставил слово. Мама не обернулась. Только сильнее сжала его руку.

Мама закрыла рот ладонью. Плечи затряслись. Сначала Макс решил, что она смеётся. Потом понял, что нет.

— Мам, прости, я не хотел...

— Нет. — Она покачала головой, не убирая руку. — Нет, всё хорошо. Просто мама называла меня так. Давно. Когда я была маленькая. «Моя подлёдная». Говорила, это моё настоящее имя.

Она всхлипнула, засмеялась и тут же оборвала смех.

— Господи, — сказала она. — Ты и правда её внук.

Она обняла его. Неловко, резко, как обнимают тех, кого боятся потерять. Макс чувствовал, как крепко она держит и как у неё дрожат руки. От неё пахло хлоркой, хвоей и вчерашним супом. Лучшая смесь на свете. Он, четырнадцатилетний, колючий, уткнулся ей в плечо и замер, боясь шевельнуться.

Так они сидели долго.

— Обещай, — прошептала она ему в волосы. — Ничего не делай. Семёна не ищи. Не пиши. Не пробуй. Подожди до лета. А потом вместе...

— Обещаю, — сказал Макс.

Соврал. Понял это ещё на слове «обещаю». Оно вышло из него легко, как воздух. А там, где вчера вспыхнуло, он уже знал: до лета не дотянет. Он слишком хорошо знал имена вещей вокруг. Знал даже имя этого дома: клетка. А мама, обнимая его, всё ещё думала, что удерживает его от двери.

* * *

Утром отец пришёл на кухню трезвый и в галстуке.

Синий галстук в крупную полоску смотрелся на нём как узда на неосёдланной лошади. Отец неловко улыбался. Выбрит, на подбородке порез, и к нему прилип клочок газеты.

— Ну как я? Годится?

Макс с мамой переглянулись. Они сидели за столом не выспавшиеся, с красными глазами, и между ними лежала хрупкая, звенящая тишина. Отец нахмурился:

— Вы чего?

— Ничего, — сказала мама. — Годится, Игорь. Очень.

— Склад на Заводской. — Он важно выпрямился. — Без опыта берут. Я сказал, у меня руки золотые. Они же золотые, Оль, ты знаешь.

— Знаю.

— И я всё. Завязал.

Она не ответила, только налила ему чаю. Отец взял чашку, глотнул, обжёгся, зашипел. И неожиданно посмотрел на Макса. По-настоящему, в глаза, как не смотрел очень давно.

— Сын. Ты как?

— Нормально.

— Не врёшь?

— Вру, — сказал Макс. — Но немного.

Отец усмехнулся и потрепал его по голове тяжёлой тёплой рукой. В этом было столько простой, неуклюжей любви, что внутри у Макса что-то дёрнулось, вскрикнуло и сразу смолкло. У этого чувства было слово. Короткое, быстрое, хрупкое.

«Прощание».

Он вздрогнул и уткнулся в тарелку.

Глава 6. Первый огонь

У Лёхи дома пахло котлетами. Это было так непривычно, что Макс первые пять минут просто стоял в прихожей и дышал, как человек, вынырнувший с большой глубины.

— Ты чего, как будто с корабля сняли? — спросил Лёха, вытирая руки о фартук. Фартук ему выдала мама, Валентина Сергеевна, женщина необъятных размеров и такой же доброты: она усаживала за стол любого, кто задержался у неё в коридоре дольше трёх секунд. — Проходи. Уроки будем делать.

— Мы же их не делаем.

— Ну, делать вид будем. Мама проверяет.

Это случилось в четверг, после школы. Домой Макс не пошёл. Дом сейчас был как комната, где кто-то забыл выключить газ: всё на месте, а дышать нечем. Мама на второй смене,

отец «на складе», а Макс сидел на Лёхином диване, ел третью котлету и думал, как странно всё устроено: узнаёшь, что в тебе течёт колдовская кровь, и в тот же вечер просишь добавки.

— Ты какой-то не такой, — сказал Лёха и закинул в рот целую котлету. — Из-за Бобра?

— Из-за Бобра я нормальный.

— А из-за чего ненормальный?

Макс помолчал. Сам не знал, почему решил показать. Может, потому что Лёха за девять лет дружбы ни разу не спросил, что у него дома. Он просто делился котлетами. Это был высший сорт дружбы, и Макс его ценил, только сказать не умел.

— Свеча есть?

— Чего?

— Свеча. Обычная. Или спички. Хотя нет, спички не надо.

Лёха посмотрел на него, пожал плечами и полез в комод. Достал церковный огарок, наверное, остался с бабушкиных похорон, и поставил на блюдце посреди стола.

— Фокус будет?

— Не знаю. Может.

— Ты теперь фокусник?

— Нет. Пока не знаю, кто.

Макс положил ладони на стол по обе стороны блюдца. Закрыл глаза. Вспомнил: вчера, с мамой, имена приходили сами. Холодильник, чайник, мама. Надо просто прислушаться. Без напряга, как слушаешь голос в соседней комнате.

Сначала была тишина. Потом, на самом краю слуха, зашелестело. Тихо, сухо, ломко, как бумага.

Свеча.

Называлась она, конечно, иначе. «Свеча» — это слово людей, а у неё было своё, длинное, тёплое, с шипением внутри. Повторить вслух он не мог, оно вертелось, как рыба в руках, но он слышал. И, слушая, понял, что от него нужно. Не приказывать. Позвать. Назвать по имени и попросить прийти.

Он позвал.

Сначала ничего. Лёха шумно сглотнул. Потом фитиль дрогнул, выпустил тонкую струйку дыма, и на кончике вспыхнул огонёк. Крошечный, золотой, ровный, будто горел там всегда.

Лёха уронил котлету.

— Ты чего... Ты как... — начал он. — У тебя спички в рукаве?

— Нету.

— Зажигалка?

— Нету.

— Тогда во втором рукаве.

Макс открыл глаза. Огонёк покачивался. Лёхина тень на обоях тянулась к нему, хотя сам Лёха сидел, откинувшись на спинку дивана. Тень была длиннее, чем должна быть, и с лишней рукой, которая уже почти касалась пламени. Макс моргнул, и тень стала обычной. Огонёк будто следил за ним. Не как хозяин — скорее как старый друг, которого давно не видел. Внутри разлилась почти болезненная радость. Максу захотелось смеяться и плакать разом.

— Лёх, — сказал он хрипло. — Это по-настоящему.

— Что по-настоящему?

— Всё. Я могу.

Лёха медленно, осторожно поднёс палец к пламени. Отдёрнул.

— Горячо.

— Ну да. Огонь.

— Нет, ты не понял. Горячо по-настоящему. Это не проектор какой-нибудь. Горит. Ты это из головы сделал?

— Я попросил.

Лёха помолчал. Потом очень серьёзно, как человек, принимающий решение, от которого зависит судьба, сказал:

— А меня научишь?

Макс заржал. Живо, по-настоящему, впервые за несколько дней, и чуть не опрокинул блюдце. Лёха смотрел на него с обидой и надеждой.

— Чего ржёшь? Я серьёзно! Может, я тоже хочу. Надоело быть единственным нормальным в этой дружбе.

— Ты не нормальный, Лёх.

— Нормальный. Я просто толстый.

— Ты самый ненормальный из всех, кого я знаю. Ты до сих пор в Деда Мороза веришь.

— Это не ненормальность. Это оптимизм.

Они хохотали, пока не заболели животы, а свеча горела между ними, золотая и тихая. Макс подумал: «Вот. Вот так должно быть всегда. Друг, котлеты, огонь». И тут же, ледяной иголкой: «Это скоро кончится». Откуда взялась эта мысль, он не знал. Просто слова встали в голове, чёткие, как надпись на стене.

Лёха вдруг перестал смеяться.

— Макс. Это опасно?

Макс посмотрел на огонёк.

— Не знаю.

— А ты... Ты никуда не денешься? С этим?

Одним вопросом, тоненьким детским голосом, Лёха попал туда, куда не попадали ни Бобров, ни Нина Павловна, ни даже мама. Прямо в больное.

— Не денусь, — сказал Макс.

Это была уже третья ложь за неделю. И он снова знал, что врёт.

* * *

Домой он вернулся в девять. Никого. Кухня стояла тёмная и холодная. На столе лежала записка, на этот раз подлиннее: «Суп на плите. Я на сутках, вернусь завтра к обеду. Отец звонил, всё хорошо, ужинает с коллегами. Не жди. Люблю. Мама».

Макс замер.

Она написала «Мама». Не «М.». И «люблю». Слово, которое в их доме звучало примерно так же часто, как «квартальная премия». Значит, она боится и прощается заранее. Он смял листок, подумал, разгладил и сунул в карман.

«Ужинает с коллегами». Макс хмыкнул. В первый же день работы. Он знал, что это значит. Наверное, знал ещё утром, когда отец уходил в синем галстуке.

Он сел на табурет и достал из рюкзака огарок свечи. Лёха всё-таки отдал огарок, и теперь тот лежал на ладони, холодный, ничем не примечательный. Макс поставил его на стол, закрыл глаза, прислушался.

«Свеча, — прошелестело. — Тёплая. Жду».

Он позвал. Огонёк вспыхнул на этот раз быстрее, как будто обрадовался. Макс смотрел на него, и вдруг само вырвалось вслух:

— Дядя Семён.

Огонёк дрогнул.

— Не знаю, слышишь ли ты. Но если слышишь... я хочу знать, что это такое. Не от мамы. От тебя.

Тишина. Тикали часы. Капало из крана. Огонёк стоял прямо, не шевелясь.

Пламя медленно потемнело. Жёлтое в оранжевое, оранжевое в красное, красное в густой, почти чёрный багрянец. Свет на кухне погас, словно щёлкнули выключателем. Макс остался

в полной темноте с огнём, который больше ничего не освещал, а светился где-то внутри себя, как уголь.

И из этого огня сухим, хриплым, незнакомым голосом сказали:

— Ну, здравствуй, паря.

Глава 7. Угли и уговоры

Голос был такой, будто кто-то неторопливо растирал в ладонях сухие ветки.

Макс не закричал. Он вообще не издал ни звука: горло забило, как пробкой. Огонь на столе, чёрный, багровый, живой, чуть колыхнулся, и в глубине, там, где у обычного пламени синее ядро, проступило лицо. Грубое, обветренное. Борода с проседью, брови нависают, глаза узкие, светлые, как две льдинки. Шрам через щёку. Нос, который ломали, и, судя по всему, не раз.

— Рот закрой, — сказало лицо. — Муха влетит.

Макс закрыл.

— Вот. Уже толк. Я Семён. Мать про меня небось такого наговорила, что ты рога ждал. Рогов нет. Есть радикулит и дрянной характер. Тебе сколько, четырнадцать? Не врёшь?

— Не вру.

— Ну и ладно. Садись. Чего столбом стоишь, у меня в огне тесно, ноги затекают.

Макс не стоял. Он сидел. Не заметил, когда сел, и теперь вцепился в край стола обеими руками, проверяя, настоящий ли стол. Стол был. И лицо в огне было. И всё это происходило на самом деле.

— Вы... вы настоящий?

— А ты думал, я мультик? — Лицо ухмыльнулось, шрам на щеке съехал. — Настоящий. В Выселках живу, печь топлю, жру, сплю, с соседями лаюсь. Просто надоело мне письма ждать. Я не из тех, кто ждёт. Ты позвал, я пришёл. Так оно и работает, паря. Не по паспорту, по зову.

— Я не знал, что зову.

— Конечно, не знал. Кто тебя учил? Никто. А ты взял и позвал. Сам, без наставника. Это либо хорошо, либо очень плохо. Потом скажу, что именно.

Макс сглотнул. Вопросов было столько, что они толкались в голове, как люди в дверях автобуса.

— Мама сказала, что я могу отказаться.

— Можешь. — Семён пожал плечами, и огонь пошёл волной. — Правда. Хочешь отказаться, отказывайся. Уговаривать не стану.

Макс моргнул.

— То есть вы не будете меня заставлять?

— Зачем? Мне это что даст? — Семён поскрёб бороду. — Силу не передашь через колено. С ней, как с семьёй: или принимаешь её сам, или всю жизнь мучаешься. Я тебя не звал. Ты позвал. Приедешь, научу. Не приедешь, живи как знаешь. Только вот что… — Он подался вперёд. Лицо в огне придвинулось, и Макс увидел: взгляд у него тяжёлый, но не злой.

— Есть одно «но». Зина знает.

— Какая Зина?

— Баба Зина. Родня наша. Старая стерва, прости, Господи. Почуяла тебя вместе со мной, ещё в сентябре. Я её четыре недели от Выселок отваживаю: то заговором, то хитростью, то просто дверь не открываю. Долго не удержу. Останешься где сидишь, у тебя дней десять. Может, больше. Может, меньше. Придут. Сами они редко ходят. Пришлют кого-нибудь.

— Кого?

— Кого-нибудь. — Семён поморщился. — Увидишь. Не обрадуешься.

За окном, на подоконнике, что-то сухо стукнуло. Один раз. Семён не повернул головы.

— Слышишь? — сказал он очень тихо. — Они уже смотрят. Шторы задёрни.

Между лопаток у Макса скатилась холодная капля.

— И что мне делать?

— Ехать сюда. Самое простое. Тут у меня защита, печь, лес. Тут хоть дышать будешь и через плечо не смотреть. Или сидеть дома и ждать. Решай сам. Только быстро.

— Мама не отпустит.

— Мама, — повторил Семён и умолк.

Лицо в огне изменилось. Стало растерянным, почти мальчишеским. Что-то в нём дрогнуло, как лёд на реке.

— Как она?

Макс не знал, что ответить. Как рассказать про неё человеку, которого видишь в пламени? Про красные руки, про суп на подоконнике, про «Мама» вместо «М.», про рубашку, которую она гладит по ночам, а никто не просил.

— Устала, — сказал он наконец. — Очень.

— Да, — тихо сказал Семён. — Она с детства умела уставать красиво.

Он замолчал. Макс тоже. На кухне стало очень тихо, только огонь потрескивал.

— Дядя Семён. — Макс сказал осторожно. — Это ведь не болезнь? Вы в письме написали.

— Не болезнь. — Семён поднял глаза. — И не билет, как ты, поди, решил. Не побег. Не волшебная палочка. Это работа, паря. Тяжёлая, одинокая, чаще всего без спасибо. Кормишь ею лес, людей, мёртвых. Тебя будут бояться. Тебя будут ненавидеть. Ты будешь терять. Всё это есть. А ещё есть вот это. — Он кивнул на свечу. — Запомни, каково было, когда огонь пришёл на зов. Оно того стоит. Иногда.

— Иногда?

— Врать не буду. Иногда.

Макс усмехнулся. Первый раз за вечер. Этот сухой северный дядька с радикулитом и лицом в огне был, пожалуй, самым честным взрослым из всех, кого он знал. Не врал, не прятался за «всё хорошо», по голове не гладил. Говорил — как есть. И от этого было не страшно, а спокойно.

— Я подумаю.

— Подумай. Только недолго.

Огонь стал гаснуть. Пламя оседало, чернота рассеивалась, и в последний момент Семён сказал:

— Паря. Надумаешь ехать, никому ни слова. Особенно отцу. Человек он добрый, но не удержит. А мне потом спасибо скажешь.

И исчез.

* * *

Отец пришёл в половине второго ночи.

Макс услышал его ещё с лестницы. Ключ в замок не попадал, что-то мягкое тыкалось в дверь, будто пытались открыть её лбом. Звякнула цепочка, дверь распахнулась, и в квартиру ввалился человек, в котором с трудом можно было узнать утреннего жениха.

Галстука не было. Была расстёгнутая рубашка, перемазанная чем-то тёмным, и лицо. На лице расползлась улыбка, глупая, широкая, победная, как у того, кто выиграл спор и забыл, о чём.

— Сын! — заорал отец. — Сынуля! Чего не спишь?

— Тебя жду.

Макс стоял в дверях кухни, босой, в футболке. Говорил тихо, ровно. Внутри у него что-то натянулось, как струна, до звона.

— А я, — гордо сообщил отец, — сегодня был на складе. Взяли! Я там показал. Говорю: мужики, я мастер. Они такие: ого. Ну и отметили. Чуть-чуть. Один раз. По случаю.

— Сколько?

— Чего сколько?

— Сколько отметили?

Отец отмахнулся.

— Да по чуть-чуть.

— Пап, у тебя рубашка в крови.

— Это не кровь. Это... томатный сок.

— Пап.

Отец вдруг посерьёзнел. Красное мокрое лицо сморщилось, как у ребёнка. Он сел на пол прямо в коридоре, привалился к стене и сказал:

— Меня уволили.

Макс не пошевелился.

— Сегодня. В полдень. Я опоздал. Начальник, Петрович, говорит: не годишься. Я ему: я мастер, руки золотые. А он: руки золотые, голова пьяная. Я ему... я ему... — Отец замолчал, всхлипнул. — Я ему не ответил. Ничего не смог сказать, Макс. Понимаешь? Стоял как дурак. А потом пошёл и купил. И мужики какие-то у магазина, предложили. Я думал, ну один раз...

Макс слушал. И чувствовал, как струна внутри натягивается всё туже, вот-вот лопнет. Он видел это столько раз. Слёзы, оправдания, «в последний раз», пьяная нежность. Сценарий он выучил наизусть, как сериал, который крутят по кругу. И всё равно каждый раз надеялся: вдруг в этот раз другой конец.

— Ты же обещал.

— Знаю.

— Маме обещал.

— Знаю, сын.

— Мне обещал.

— Макс...

— Я тебе поверил! — Голос сорвался, и он сам испугался этой громкости. — Стоял тут на кухне, смотрел на твой дурацкий галстук и думал: а вдруг правда выйдет. Я дурак, да? Самый большой дурак в доме. Потому что вы оба только и делаете, что обещаете. «Всё будет хорошо», «я исправлюсь», «потерпи». Я терплю. Четырнадцать лет терплю! А вы...

В коридоре мигнула лампа. Макс не заметил. Он видел только отцовское лицо: красное, мокрое, растерянное.

— Лучше бы у меня не было такого отца, — сказал он.

Фраза упала между ними, как нож на кафель, и ещё долго звенела.

В прихожей, на вешалке, качнулось отцовское пальто. Окна были закрыты. Макс видел это краем глаза и почему-то был уверен: в тёмном углу за пальто что-то стоит, слушает и запоминает каждое слово.

Отец не ответил. Смотрел на него снизу вверх. Улыбка сползла, и осталось что-то голое, детское. Он вдруг выглядел очень старым и очень маленьким одновременно.

— Правильно, — тихо сказал он.

— Пап...

— Нет, правильно. Ты прав. Я б и сам себе такого отца не хотел. — Он провёл ладонью по лицу, размазывая слёзы. — Иди спать, Макс. Иди. Завтра в школу.

Макс стоял. Хотел что-то сказать. Взять слова обратно, как берут шутку. Но слова не возвращались. Они метались по коридору, как пули, и каждая попала.

— Иди, — повторил отец. — Мне не жалко. Правда. Мне... не жалко.

Макс ушёл, закрыл дверь и лёг лицом в подушку. Долго лежал со сжатыми кулаками. Внутри жгло, будто он проглотил уголёк.

На тумбочке стоял огарок. Маленький, едва живой. Светил он уже не жёлтым, а тихим, ровным, серым светом, как небо за окном перед рассветом.

«Приезжай», — прошелестел он.

Макс не ответил. Но и «нет» не сказал.

Глава 8. Человек с папкой

Сон начался с запаха бумаги.

Не типографской, свежей, а старой, архивной: пыльной, желтоватой, с примесью мышей и мокрых зонтов. Макс стоял в длинном коридоре с таким высоким потолком, что тот терялся в тумане. Вдоль стен тянулись ряды одинаковых коричневых дверей с латунными номерками. Каждая приоткрыта на щёлку, и из каждой сочился свет. Голубой, золотой, розовый, зелёный. Так светят окна, когда идёшь вечером по чужому двору и заглядываешь в чужие жизни.

Под ногами скрипел паркет. На стене висели часы без стрелок.

— Так, — сказал Макс. — Это сон.

— Они все так говорят, — вздохнули справа.

Он обернулся.

Шагах в пяти, у маленького письменного столика, который почему-то стоял прямо посреди коридора, сидел человек. Невысокий, лысоватый, в мятом сером костюме из тех, что покупают на вырост и носят до гроба. Круглые очки, дужка перемотана изолентой. В руках толстая истрёпанная папка, из которой во все стороны торчали листы. В нагрудном кармане три ручки, карандаш и ещё что-то неопределённое.

Человек поднял голову и посмотрел на Макса с выражением бесконечной, многолетней усталости.

— Фамилия?

— Ветров.

— Имя?

— Максим.

— Возраст?

— Четырнадцать.

— Угу. — Он зашуршал бумагами. — Ветров, Ветров... А, вот. Нашёл. Господи, наконец-то. — Вытащил из папки лист, прищурился и с размаху шлёпнул по нему штампом. Штамп ударил с мокрым хлопком, и воздух вокруг дрогнул. — Молодой человек, вы ошиблись дверью.

— Я никуда не заходил. Я спал.

— Вот именно. Спали. Не там, где надо. — Он вздохнул, снял очки, потёр переносицу. — Вы представляете, сколько я за вами бегаю? Три недели. Три недели пытаюсь вас найти, а вы то там, то тут, записи путаются. Вы понимаете, что мне через четыре года на пенсию? Через четыре! Я хочу сидеть на даче, помидоры растить, а не гоняться за нерадивыми...

Он осёкся.

— За кем? — спросил Макс.

— За... — Человек кашлянул. — За гражданами. Неважно. Я Распорядитель Хранилища. Можете звать Архивариус, короче.

— Хранилища чего?

— Душ, разумеется. Чего же ещё. — Он сказал это так, как говорят «почта» или «бухгалтерия». — Вы в Хранилище душ. В служебном коридоре. Посторонним сюда нельзя, но вас, как бы это сказать, отправили не по тому адресу. Вам надо вернуться.

— Куда?

— Сюда, молодой человек. Сюда. Назад. К ним. — Он обвёл рукой ряд дверей. — Вот, смотрите.

Он подошёл к ближайшей двери и приоткрыл пошире. Макс заглянул. За дверью было море. Настоящее, синее, с чайками и солёным ветром, который ударил в лицо. На тёплом песке лежал кто-то маленький, свернувшийся клубком, и Макс почему-то сразу понял: в этом клубке чья-то жизнь. Целая. Со всем, что в ней будет.

— Один из вариантов, — тихо сказал Архивариус. — Хороший. Тёплый. Без больших потерь. Без больших ошибок. Тихая, красивая, лёгкая... — Он запнулся. — Лёгкая жизнь.

— Какой вариант? — не понял Макс.

— Я хотел сказать... — Архивариус засуетился, зашуршал листами. — Так, неважно, я не вправе вдаваться. Это вне моей компетенции. Слушайте, просто закройте глаза и вернитесь. Вам тут быть не положено. Вы срываете график. У нас, между прочим, план.

— Какой план?

Архивариус посмотрел на него долгим, тоскливым взглядом человека, у которого в ящике стола лежит заявление об уходе, и вот уже тридцать лет он не решается его отправить.

— Молодой человек, — сказал он. — Вы очень похожи на моего зятя. Тот тоже всё время спрашивал. Надеюсь, вы не будете.

— Буду! — разозлился Макс.

Архивариус вздохнул.

Макс смотрел на него, и вдруг пришло странное. Не страх, не удивление. Узнавание. Будто он уже видел этого человека, много раз, в другом месте. Не лицо, а усталость. Усталость пополам с виной. Вина и служебная папка плохо сочетались, но в этом человеке почему-то уживались.

— Ладно, — сказал Макс. — Допустим, сон. Допустим, вы существуете. Что вам надо?

— Чтобы вы вернулись.

— Куда?

— Откуда пришли. Подальше от ваших... ваших... — Архивариус неопределённо покрутил пальцами. — Занятий. Вы балуетесь с тем, с чем баловаться не стоит. Огонь, имена, этот ваш дядя. Бросьте. Закройте дверь. Живите нормально. Прошу по-человечески.

— Это моя жизнь. Я что, сам решать не могу?

— В том-то и дело, — вырвалось у Архивариуса. Он тут же зажал рот ладонью и огляделся, будто боялся, что услышат. — Нет. Нет, ничего. Простите. Я лишнее сказал.

— Что значит «в том-то и дело»?

— Ничего не значит. Идите, идите. — Он начал подталкивать Макса к ближайшей двери, суетливо, неловко, как швейцар выпроваживает подвыпившего гостя. — Вам туда. Шагните, и всё. Проснётесь у себя. Ничего не было. Всё как прежде.

— А если не хочу?

— Хотите. Все хотят. Все в конце концов... — Он осёкся. — Ну, пожалуйста.

Последнее слово прозвучало жалобно. Макс остановился. Посмотрел на смешного лысого человечка в перемотанных очках, на папку с торчащими листами, на вытертый костюм и вдруг его пожалел. Ни с того ни с сего. Так жалеют бродячую собаку, которая из последних сил старается выглядеть бодрой.

— Вы не злой.

— Я чиновник, — ответил Архивариус. — Это иногда хуже.

Он улыбнулся. Слабо, вымученно, и в улыбке мелькнуло что-то такое грустное, что Макс едва не шагнул к двери. Едва. Но что-то удержало. Может, запах моря. Может, песок. А может, шёпот, который он слышал последние два дня, тихий, упрямый, зовущий: «Приезжай».

— Я не пойду, — сказал он. — Простите.

Архивариус закрыл глаза.

— Так я и думал. — Он пробормотал это себе под нос. — Придётся докладывать.

— Кому?

— Не вашего ума дело. — Глаза он открыл, и они были усталые, но спокойные. — Хорошо. Первая попытка не удалась. Будет вторая. И третья. Я вас найду, молодой человек. Я очень упорный. И я очень хочу на пенсию.

— Желаю вам помидоров, — сказал Макс.

Архивариус моргнул. Потом неожиданно тихо засмеялся.

— Спасибо. Это... это очень мило.

Макс уже повернулся, чтобы уйти, и тут заметил в самом конце коридора дверь, не похожую на остальные. На латунной табличке была не цифра, а надпись: «ВЕТРОВ М. И.». Дверь была приоткрыта шире всех. Из щели не шёл свет. Оттуда тянуло холодом и хвоей, и что-то в темноте дышало медленно, в такт его собственному дыханию.

Архивариус проследил за его взглядом. Лицо у него стало белое, как бумага.

— Не смотрите туда, — прошептал он. — Это не для вас. Это пока не для вас.

* * *

Макс проснулся от собственного дыхания.

Серый свет пробивался сквозь занавеску. Пятница, шесть двадцать. Он лежал, смотрел в потолок, и сердце колотилось быстро, неровно, как у человека, которого окликнули по имени в пустом доме.

Сон не отпускал. Обычно сны расплываются за несколько секунд. Этот стоял перед глазами чётко, как фотография: коридор, двери, море, человек в очках. Запах бумаги ещё щекотал ноздри.

— Хранилище душ, — прошептал Макс. — Бред какой.

Он потянулся за телефоном глянуть время и увидел свою ладонь.

На внутренней стороне правой ладони, под большим пальцем, синел отпечаток. Чернильный, смазанный, будто к коже приложили печать и сразу убрали. Часть букв стёрлась, но остальные читались: «... ОБН...».

Макс потёр ладонь о простыню. Чернила не оттирались. Он потёр сильнее, пока кожа не покраснела. След побледнел, но остался: тонкий, упрямый, почти незаметный.

«... ОБН...».

Обновление? Обнуление? Он перебрал десяток слов, и ни одно не подошло. Сжал кулак и встал.

В квартире пахло сигаретами и перегаром. Отец спал в коридоре, как обычно, голова на ботинках. Макс постоял над ним, глядя на седеющие виски, на мозолистую руку, лежащую ладонью вверх, пустую, как у нищего. Потом пошёл в комнату, достал из шкафа рюкзак и начал складывать вещи.

Он ещё не решил. Руки складывали вещи сами, пока голова продолжала спорить.

Глава 9. Три записки

Пробник по алгебре Макс не писал.

В школу он вообще не пошёл. Пока одноклассники склонялись над листами, а Нина Павловна ходила между рядами с лицом генерала перед боем, он сидел на скамейке в соседнем дворе и смотрел, как дворник гоняет голубей. Долго, внимательно, будто голуби были шифром, который надо разгадать до вечера.

Он ещё не решил. Вот что странно. Рядом стоял рюкзак, набитый и застёгнутый: две футболки, свитер, запасные джинсы, зарядка, блокнот, нож, который отец подарил на двенадцатый день рождения, единственный подарок, не вызвавший у мамы вопросов. А решения не было. Было чувство, что он давно стоит на краю платформы и ждёт, пока кто-нибудь скажет: «Отправляется».

В полдень пришло сообщение от Лёхи: «Ты где?! Нинуля бесится. Я сказал, у тебя дизентерия. Она сказала, это не отмазка. Сказала, дизентерию у неё в классе можно подхватить только в нашей столовой».

Макс усмехнулся. Написал: «Выйди на крыльцо».

Лёха появился через четыре минуты. Красный, запыхавшийся, куртка нараспашку, в руке пакет.

— Ты куда? — выпалил он вместо «привет». Взгляд упал на рюкзак. — Нет. Ты куда собрался?

— Никуда.

— С рюкзаком?

— Это не рюкзак. Это спортивная сумка.

— Макс.

Тот долго молчал. Потом, глядя на голубей, сказал:

— Мне надо уехать. Ненадолго.

— Куда?

— Не могу сказать.

— К дяде? К тому, из огня?

Макс повернул голову. Лёха стоял и смотрел на него, и в глазах у него не было ни упрёка, ни удивления. Одно терпеливое, мягкое понимание, как у большого пса, который всё видел.

— Откуда ты...

— Ты у меня на диване задремал, пока я за добавкой ходил, — объяснил Лёха. — И бормотал что-то про Выселки и дядю Семёна. Я не специально.

Макс закрыл лицо руками. И засмеялся. Тихо, глупо, до слёз.

— Ты невозможный.

— Знаю. — Лёха сел рядом и поставил пакет на колени. — Держи.

— Что это?

— Котлеты. Шесть штук, в фольге. Мама думает, я на тренировку, а я иду становиться лучшим другом на свете. И вот. — Он вытащил из кармана мятый конверт. — Полторы тысячи. Копилка на велик. Я всё равно кататься не умею.

— Лёх...

— Бери. Не спорь. Знаю, что не вернёшь. Знаю, что скажешь «не надо». Но ты же не... — Он махнул рукой. — Ты как бродячий кот. Тебя кормят, а ты шипишь. Так вот. Не шипи. Просто возьми.

Макс взял.

В горле першило. Хотелось сказать что-нибудь важное, из тех слов, что остаются навсегда. Но в голове было пусто. Он только кивнул и неловко толкнул друга плечом. Они посидели минуту, не говоря ни слова, два пацана на холодной скамейке, а вокруг ворковали голуби.

— Ты вернёшься? — спросил Лёха.

— Не знаю.

— Ладно. — Лёха шмыгнул носом. — Тогда я буду думать, что вернёшься. Мне так удобнее.

* * *

Записку он пытался написать дома. Не вышло.

Он перепробовал три варианта. Пока мама была на сутках, а отец бормотал в коридоре, Макс сидел за кухонным столом и выводил буквы на листках из блокнота. Каждый листок отправлялся в мусорное ведро.

Первая записка получилась длинная. Страницы на четыре. Он написал всё: про холодильник, про суп, про лампы, про «ещё и», про имена. Написал: «Мама, я не хочу тебя бросать. Я просто не могу больше. Ты не виновата. Ты лучше, чем думаешь». Дойдя до слов «Я люблю тебя», смял лист. Слишком. Слишком голо, как открытая рана, на которую обязательно кто-нибудь наступит.

Вторая вышла короче: «Мам, не волнуйся. Я у дяди Семёна. Вернусь, когда пойму, что к чему. Береги себя и отца. М.». Он перечитал и скривился. «Береги отца». Будто оставляет им инструкцию к бытовому прибору. Смял.

Третья написалась сама. Быстро, зло, почти без мысли, как пишут, когда внутри кипит и надо куда-то слить пар.

«Мне надоело. Я ухожу. Не ищите. Вы всё равно не заметите».

Всё. Короткие, острые, как осколки. Макс смотрел на них, и внутри разливалось мерзкое, липкое облегчение. Вот. Вот это правда. Вот что он хотел сказать. Не «люблю», не «прости», а «вы всё равно не заметите».

Он оставил её на столе, придавил солонкой.

А две смятые сложил вчетверо и сунул в карман куртки. Сам не зная зачем. Может, потому что выбросить их значило признать, что он умеет писать только злое. А может, потому что где-то глубоко, под всей наглостью, сидела крошечная часть его, которая твёрдо знала: эти листки ещё пригодятся.

Перед уходом он заглянул в комнату отца.

Тот лежал на боку, поджав колени, как ребёнок. На подушке, у самого лица, синел галстук. Тот самый, в полоску. Кто-то его нашёл, мама или сам отец, и поглаживал, как поглаживают бывшую любовь.

Макс постоял в дверях.

— Пап. — Почти шёпотом. — Я не то хотел сказать. Вчера.

Отец не шевельнулся. Только ресницы дрогнули. Может, снилось. А может, не спал.

Макс закрыл дверь.

* * *

Вокзал встретил его гулом и запахом жареных пирожков, огромный, шумный, душный, с очередями и объявлениями, в которых не разобрать ни слова. Макс пробрался между тележками и чемоданами к кассе с табличкой «Дальнее следование».

За стеклом сидела женщина с пышной причёской и глазами человека, который всё повидал и перестал удивляться ещё при царе.

— Куда?

— До Княжьего Яра.

Кассирша подняла голову. Задержала на нём взгляд.

— Куда?

— Княжий Яр. Станция. — Он покопался в памяти. Название всплыло ночью, в огне, пока Семён диктовал дорогу: «Двести семнадцатый, плацкарт, до Княжьего Яра, там я тебя встречу». — Двести семнадцатый поезд.

— Двести семнадцатый, — медленно повторила кассирша. — Мальчик, сколько тебе лет?

— Шестнадцать, — соврал Макс.

— Шестнадцать, — кивнула она. — Паспорт?

— Забыл.

— Забыл, — вздохнула она. — Родители знают?

— Знают.

— Ага. — Пальцы застучали по клавишам. — Двадцать лет тут сижу. Знаешь, кто ездит двести семнадцатым? Охотники, лесники и вахтовики. Один раз бабка с курицей была. Детей нет.

— Я не ребёнок.

— Конечно. — Она подняла глаза, посмотрела на него долго и внимательно и вдруг смягчилась. — Ладно. Один плацкарт. Девятьсот сорок. Ты там поосторожней. Места нехорошие.

— Какие?

— Нехорошие. — Она просунула билет в окошко. — Ночью на станции один не оставайся. Ни за что.

Макс взял билет, пересчитал сдачу и вышел на перрон. Такое чувство, будто его только что благословили и прокляли одним движением.

Стемнело. Фонари горели жёлтым, у края платформы клубился пар. Вдалеке хрипел репродуктор. Поезд ещё не подали. Макс сел на скамью, поставил рюкзак между ног и достал ещё тёплую котлету.

Он жевал и смотрел на рельсы, уходящие в темноту. Они блестели. В этом блеске было что-то обманчивое, но обещающее: там, за горизонтом, и правда, есть другое место, где всё иначе.

На краю вокзального козырька сидел ворон.

Макс замер с котлетой во рту.

Птица смотрела на него. Те же чёрные глаза, тот же прямой взгляд, та же неподвижность. Только теперь не улетел. Расправил крылья, один раз, неторопливо, и почти беззвучно раскрыл клюв. Слишком широко. Шире, чем бывает у птиц. Внутри не было языка, только темнота, и из неё тянуло чем-то жутким.

Слов Макс не услышал. Услышал имя. Не вороново, а того, кто смотрел через него. Холодное, колючее, женское, длинное, как змеиный хвост.

Зина.

Он проглотил котлету. Встал. Поправил лямку рюкзака.

— Передай привет, — сказал он ворону, удивляясь собственной наглости. — Скажи, что я уже еду.

Глава 10. Поезд на север

Поезд номер двести семнадцать шёл не быстро и не медленно, а так, как ходят поезда, у которых нет расписания, зато есть характер. Он вставал посреди поля без объяснений, вздыхал, гудел, потом трогался, словно вспомнив, куда едет.

В вагоне пахло колбасой, мокрой одеждой и дымом. Плацкарт был полупустой: у окна на нижней полке, раскинув руки, храпел огромный мужик в камуфляже, ровно и мощно, как трактор на холостом ходу. Напротив сидела пожилая женщина со спицами и с ведром, накрытым полотенцем. Из-под полотенца время от времени доносилось недовольное кудахтанье. Бабка с курицей. Кассирша не шутила.

Макс залез на верхнюю боковую полку и сразу почувствовал себя в безопасности. Странное, почти звериное чувство: наверху, под потолком, где тебя никто не видит, можно лежать, прижавшись лбом к холодному стеклу, и смотреть, как мимо несутся огни. Сначала городские, яркие, суетливые. Потом редкие, дачные. Потом никаких. Черно, лес, и только изредка, как выдох, мелькнёт огонёк одинокой избы.

Он ждал, что почувствует свободу.

В книжках и в кино побег всегда сопровождается чем-то огромным: ветер в лицо, музыка, мир распахивается. Макс лежал и ждал, а мир не распахивался. Было только тихое покачивание, стук колёс и ноющая пустота под рёбрами, как будто он что-то важное забыл дома и не может вспомнить что.

«Утюг, — подумал он. — Я не выключил утюг».

Тут же вспомнил: утюг у них дома выключала мама. Всегда. Каждое утро, когда закончит гладить ему рубашку. Рубашка теперь висит на стуле, а утром к утюгу выйдет мама, и увидит, что гладить некому.

Макс закрыл глаза. Зря. Так он видел это слишком ясно.

* * *

Проснулся оттого, что кто-то тряс его за ногу.

— Парень. Эй, парень. Подъём. Чай принесли.

Над ним стоял тот самый мужик в камуфляже. При дневном свете он оказался не таким огромным, но всё равно внушительным: широкий, бородатый, лицо в морщинах, как карта неизвестной местности. Глаза маленькие, цепкие. В руках два гранёных стакана в металлических подстаканниках, от них шёл пар.

— Держи. Сахару сам положил, три куска. Тебе надо.

— Спасибо, — сказал Макс, не задумавшись.

Слово вышло легко. Он удивился.

Слез с полки, сел напротив, обхватил стакан двумя руками. Чай был крепкий, горький и сладкий одновременно. За окном рассвело. Тянулась тайга: тёмные ели, перемежающиеся рыжими пятнами облетевших берёз. Над лесом низко висели серые облака. Казалось, поезд идёт по дну перевёрнутого неба.

Бабка, не отрываясь от спиц, спросила:

— Куда путь держишь, милок?

— К дяде.

— А дядя где?

— В Выселках.

Спицы остановились.

Мужик, уже поднёсший стакан ко рту, замер. Оба посмотрели на Макса так, будто он сказал что-то неприличное в церкви.

— В Выселках, — повторила бабка.

— Ну да.

— За Мёртвым Бором? — уточнил мужик.

— Ну... да.

Они переглянулись. Макс почувствовал себя чужаком в закрытом клубе.

— Анфисин внук, — тихо сказала бабка. И перекрестилась. Быстро, украдкой, как от сквозняка.

— Откуда вы...

— Глаза у тебя её, — просто сказал мужик. Он сделал большой глоток и поставил стакан. — Пётр Иваныч. Лесник. Мёртвый Бор — мой участок. Двадцать три года хожу. Анфису знал. Хорошая была женщина. Страшная, но хорошая.

— Страшная?

— А ты как думал? Колдунья, — сказал он буднично, как «пекарь» или «слесарь». — Но справедливая. Я ей как-то зайца из капкана выпустил, так она потом полгода мне деревья в лесу показывала, где какой гриб растёт. За зайца. Вот такая. Людям мало кто по-доброму такое делает.

Макс молчал. Мир, который ещё три дня назад был просто неудобным, вдруг стал тесным, как комната, где слишком много людей знают твоё имя.

— Вы не боитесь? — спросил он. — Что я... что у меня тоже...

— Боюсь, — честно сказал Пётр Иваныч. — Только не тебя. Ты мальчишка, я вижу. Я боюсь того, что у вас там, в лесу. Не твоей колдовской братии. Других. — Он понизил голос. — Слушай, скажу тебе одну вещь. Не по должности, а потому что у меня трое внуков. Если на тропе Мёртвого Бора кто-нибудь тебя окликнет, не оборачивайся. Даже если голос мамин. Особенно если мамин. Понял?

У Макса похолодели пальцы.

— Понял.

— И хлеб с собой носи. Чёрный, с солью. Не белый. Белый они не берут.

— Кто «они»?

— Те, кто зовёт, — коротко ответил лесник и вдруг широко, добродушно улыбнулся, показав крепкие жёлтые зубы. — Да не бойся. Ты не один. Семён встретит. Суровый, конечно, бука, зато надёжный. Если надо, и медведя за ухо оттащит. Двадцать лет его знаю, ни разу не подвёл.

Макс допил чай. Стало теплее.

Курица в ведре возмущённо квохнула, будто что-то поняла.

* * *

Телефон зазвонил в одиннадцать утра.

Он лежал в кармане, на беззвучном, и сначала Макс почувствовал просто дрожь, будто там проснулся рассерженный жук. Достал. На экране: «Мама». Четырнадцать пропущенных. С вечера он не смотрел в телефон, и теперь красные цифры одна за другой швыряли ему в лицо чужую тревогу.

Он смотрел на экран и не шевелился.

За окном проплывал мост. Внизу, в чёрной воде, дрожало отражение поезда. Макс пригляделся: окон в нём было на одно больше, чем ввагоне. В самом последнем стояла чья-то фигура и смотрела вверх, на него. В ведре у бабки разом, как выключили, смолкла курица. Телефон бился в руке, и вибрация шла по пальцам, по запястью, по всему телу.

Нашла записку. Это ясно. Прочитала шесть слов, «вы всё равно не заметите», и стоит сейчас в пустой кухне с телефоном у уха и слушает длинные гудки.

Он представил её лицо. Не вчерашнее. То, каким оно стало после этих слов. Видел, как она медленно садится на табурет, не снимая куртки. Как складывает листок, сначала пополам, потом ещё. Кладёт в карман, к ключам. И всё равно встаёт и идёт дальше: у неё три работы и ещё один человек, спящий в коридоре.

Телефон смолк. Через секунду завибрировал опять.

Макс сжал его так, что побелели костяшки.

Ответить он не мог. Знал: ответит, услышит её голос, ровный, тихий, без упрёка, и всё рухнет. Выпрыгнет на ближайшей станции. Вернётся. Снова будет хлебать холодный суп и слушать «ещё и». Останется в клетке, потому что у этой клетки мамины руки.

Поэтому он сделал единственное, что мог.

Открыл сообщения и набрал короткую фразу. Подумал. Стёр. Набрал снова.

«Я жив. Прости».

Пальцы дрожали. Он нажал «Отправить» и сразу выключил телефон. Макс спрятал его в карман, но тревога никуда не делась.

Напротив тихо вздохнула бабка. Спицы стучали. Она на него не смотрела, но, кажется, всё слышала.

— Мать?

— Мать.

— Любит?

— Любит.

— А ты?

Макс долго молчал. Поезд качнулся на стрелке, колёса вывели долгую дребезжащую ноту.

— Не знаю, как это называется, — сказал он. — Но, наверное, да.

Бабка кивнула, будто услышала правильный ответ.

— Вернёшься, значит, — сказала она и вернулась к вязанию.

* * *

Станция Княжий Яр оказалась не станцией, а просто местом, где поезд счёл нужным остановиться.

Деревянный перрон, посеревший от дождей. Одна скамейка. Один фонарь, не горевший. Табличка с названием, наполовину стёртая. Вокруг стеной стоял лес. Тёмный, влажный, пахнущий хвоей и сырой землёй. От этого запаха у Макса закружилась голова. Он знал его. Откуда-то из давней, невозможной глубины. Так пахло письмо.

Пётр Иваныч спустил рюкзак и протянул руку:

— Бывай, Макс. Не серчай на старика, что запугал. Хлеб не забудь.

Рукопожатие вышло неожиданно крепкое. Лесник зашагал по перрону и растворился в тумане. Поезд тронулся, медленно, мучительно, как человек, которому не хочется уходить. Окна, лица, свет. Потом хвост последнего вагона скрылся между деревьев, и стало тихо.

Такой тишины Макс никогда не слышал. В городе тишина означала, что стих шум. Здесь она окружала его со всех сторон, живая и настороженная.

Он остался один.

Теперь никто не спрашивал, как он, не тряс за ногу, не совал чай. Только лес, туман и холод. Макс сел на рюкзак, обхватил себя руками. В кармане куртки, у самого сердца, лежали две смятые записки. Он достал одну, первую, длинную. Развернул. Строчки расплывались от сырости. «Мама, я не хочу тебя бросать».

Он поднял голову.

Из тумана медленно, никуда не спеша, выходил высокий человек в тулупе с длинной палкой. Борода седая, лицо сухое, обветренное, на щеке шрам, тот самый. Шёл тяжело, слегка припадая на правую ногу, и перед каждым его шагом туман расступался, как вода перед лодкой.

Он остановился в трёх шагах. Оглядел Макса с головы до ног. Перевёл взгляд на его руки, где белел мятый листок, и хмыкнул.

— Ну, здравствуй, паря, — сказал дядя Семён. — Живой. Это уже неплохо. Пошли, пока Мёртвый Бор не проснулся.

Макс закинул рюкзак на плечо. Они прошли десять шагов, двадцать. Туман сомкнулся за спиной, и перрон пропал. И тогда сзади, со стороны станции, где никого не могло быть, женский голос позвал:

— Макс?

Голос был мамин. Усталый, надтреснутый, с той самой ноткой, с какой она звала его ужинать.

— Макс, подожди. Я за тобой. Ну что ты встал?

Шея у него одеревенела. В нос ударил запах хлорки.

Семён не остановился и не обернулся. Глядя прямо перед собой, сказал тихо и очень ровно:

— Хлеб достань. Держи в руке. И иди.

— Но это же...

— Знаю, что это. Иди.

Макс шёл и считал шаги. Голос шёл следом, на два шага позади, и звал, и звал. На сорок седьмом шаге он засмеялся — не от веселья, а назло тому, кто шёл за ним маминым голосом.

Часть II

С

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.